
РЕЦЕНЗИИ

В.Е. ХАЛИЗЕВ, А.А. ХОЛИКОВ, О.В. НИКАНДРОВА.
РУССКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ:
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ (1900–1960-е годы).
М.; СПб.: НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2015. 176 с.

V.YE. KHALIZEYEV, A.A. KHOLIKOV, O.V. NIKANDROVA.
THE RUSSIAN ACADEMIC LITERARY STUDIES:
A HISTORY AND METHODOLOGY (1900^S–1960^S). [IN RUSSIAN].
M.; SPb.: “NESTOR-ISTORIYA” PUBL., 2015. 176 p.

Автору настоящей рецензии выпала возможность познакомиться с книгой еще на этапе ее подготовки к изданию, и я рекомендую ее всем, кто хочет проследить закономерности методологического развития русского литературоведения 1900–1960-х годов, как в научном, так и в широком социокультурном контексте. Она блестяще соединила в себе различные жанры: наукоемкое историографическое исследование, документированную историю литературного процесса XX века и меморию.

Причудливая форма – закономерное следствие теоретико-методологической установки, которая допустила личность ученого “в им вершимые познавательные процессы” (с. 6). Книга представляет целостное в замысле и живое в воплощении авторское повествование, отмеченное яркими чертами субъективности. Но мера субъективизма не превышает границ дозволенного научным знанием: она предопределена личным опытом авторов – свидетелей и творцов историко-литературного процесса XX века, а также сознанием чужой одушевленности, т.е. безусловным признанием права на независимый жизненный и научный выбор тех, кто оказался (посмертно!) объектом изучения.

Нельзя не согласиться: “...субъективизм не есть произвол...” (с. 13), если литературовед, не скрывая авторского присутствия в “событии рассказывания”, ограничил себя ролью *опознавателя* научного события и, преломляя его интерпретацией, довольствовался *координирующей* стратегией, способствующей *свободному самоопределению* читателя. В герменевтической перспективе историческое познание неизбежно придает событиям иной смысл и значение, нежели они имели на самом деле или представлялись участникам событий. И потому задача у создателей книги была

не из легких, тем более что предметом своим они выбрали “один из... самых драматичных периодов в развитии русской науки о литературе, неотделимый от общественно-политической жизни страны” (с. 5). Россия XX века пережила мифогенные времена, когда уничтожались “преданья старины глубокой” и творился новый мир, и ее прошлое по сей день остается предметом споров. Свою миссию авторы видели в том, чтобы способствовать охлаждению этих споров и послужить научной потребности “в освобожденной от идеологического налета истории русского академического литературоведения XX века” (с. 4). Своим трудом они указали на близящееся завершение эпохи “противостояния науки и идеологии” и освобождение литературоведения от подчинения “идеологическому диктату” (с. 4). Предпринятая ими систематизация основных тенденций в науке о литературе советского периода, очевидно, была продиктована желанием ввести известные и малоизвестные документы и события прошлого не только в сферу актуального научного смысла, но, что не менее важно, *жизненного опыта*.

Идея, с которой прежде всего встречается читатель, – о том, что “в составе науки о литературе первичным, исходным является постижение *единичных* словесно-художественных произведений, тогда как уяснение более широких и емких феноменов (в том числе истории литературы) вторично, производно: оно зависит от итогов рассмотрения отдельных художественных творений” (с. 9). Сформулированный таким образом ведущий принцип литературоведения и эпистематический статус его предмета выдвигает в качестве универсального подхода интерпретирующую аналитику, которая ориентируется на понятие содержательной формы и предполагает “активную вовлеченность в познавательный процесс ее субъекта”

(с. 17). По мысли авторов, личность ученого, его эстетические, нравственные, религиозные, философские представления, его жизненный опыт имеют преимущественное право сказаться как в выборе объекта изучения, так и в его постижении. Рецензируемый труд, безусловно, принадлежит к ценностно ориентированной традиции, которая воспринимает культуру как сферу социального действия, однако вносит в эту традицию новый и важный мотив – недоверие к теоретическим схемам, ко всему “априорному” и установку на сопереживание, на личный опыт и диалог.

Состав анализируемых в издании академических школ и наследия их лидеров не может быть назван исчерпывающе полным. Авторы не стремились к энциклопедической полноте. Как становится ясно по прочтении, отбору подлежали те факты и события, которые в истории науки могут быть названы доминантными, т.е., согласно А.А. Ухтомскому, имеющими склонность поддерживаться и повторяться, оставлять неизгладимый след, создавать предысторию и формировать опыт. И определенные этими доминантами во “внутреннем пространстве” научной рефлексии связи и отталкивания тонко и умело выстраиваются авторами, в своем историописании охватившими более чем полувековое существование отечественного литературоведения и поддержавшими его собственным трудом. Таким доминантным событием в истории академического литературоведения представлена эволюция методологических установок основателя сравнительно-исторического метода А.В. Веселовского. Прослеживается движение его мысли от поиска общих и точных научных оснований литературоведения к утверждению личностного начала в литературе и в обществе, фиксируется переход от внелитературных факторов творчества к разработке теоретической поэтики. Как показало исследование, в этой эволюции были заложены основные сюжеты будущего развития и противостояния в науке о литературе XX столетия. В лице Веселовского и Потебни и их научных наследников академическое литературоведение рубежа веков сдвигалось от былой позитивистской ориентации в сторону персонализма (в широком смысле этого слова): от культа “чистой” науки к учету гуманитарной специфики знания о художественной словесности.

От Веселовского, не как от завершителя, а как от основателя двух противоположных методологических предпосылок литературоведения 1920–1960-х гг., авторы выводят линию “индуктивистов” и “концептуалистов”. Первые признавали освоение фактов необходимым условием обобщений, к этой категории отнесены В.Н. Пе-

ретц, В.А. Жирмунский, позже к ним примкнули Д.Е. Максимов, Л.Я. Гинзбург, Д.С. Лихачев, М.Л. Гаспаров, А.П. Чудаков. В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум и ранний Р.О. Якобсон, также считавшие себя наследниками Веселовского, сосредоточившись на специфических чертах поэтической формы, в отличие от учителя, пренебрегли генезисом. Очерк истории формального метода, с момента его расцвета до заката, и сопровождавшегося “посмертной” реабилитацией нового взлета, лишен характерных эмоционально-оценочных крайностей, к которым уже, вероятно, привык читатель. Осуждение (“побеждает тот, кто кричит громче” или “формалисты смотрят на действительность свысока”) и предельное возвеличивание («до формализма имело место только “преднаучное знание” о литературе») получили иной смысл и другую оценку: “На смену *методологическому плюрализму* дореволюционного академического литературоведения пришел *редукционизм формализма*” (с. 57). Включив в название главы о формализме подзаголовок “методология/мировоззрение”, авторы расширили круг анализируемых явлений. Они провели связующую нить от редукционизма формального к редукционизму содержательному как социальному действию, призванному прервать плодотворный диалог с творящими началами как самой художественной литературы, так и литературоведения, отвергая в качестве несущественных факторы “нравственные, гражданские, философские”.

Очерк марксизма в литературоведении исполнен в жанре мемории. Краткий очерк репрессивных “заслуг” марксистского литературоведения конца 1920–1930-х гг. отразил стремительный переход от воспитания к наказанию: от искажения текстов цензурой, запретов на публикацию рукописей, изъятия из обращения уже опубликованного, уничтожения тиража книги накануне ее выхода в свет, к увольнению ученых с работы, их арестам и ссылкам. Исторический обзор завершается воспоминаниями событий 1950–1970-х гг. Они могли быть названы локальными и личными, когда бы не значительность имен участников и не идеологическая весомость впервые озвученных с академической кафедры фактов и суждений. С одной стороны, это развернувшаяся в 1964 году полемика о сущности эстетического между “природниками” в лице Г.Н. Пospelова и “общественниками” в лице Л.Н. Столовича и др., которые не проявили никакого дружественного единения: “Борьба, борьба! Никаких компромиссов!” С другой – осуждение с позиций марксизма книги Бахтина о Достоевском на многолюдном заседании научного студенческого общества филологическо-

го факультета МГУ. В.Ф. Переверзев определил тогда бахтинскую методологию как порочную. «“Они ничему не научились”, – сказал по этому поводу после заседания В.Н. Турбин. А немногим позже в домашней обстановке Валерьян Федорович с возмущением говорил о выступлении С.Г. Бочарова в защиту Бахтина...», – вспоминает В.Е. Хализев (с. 87). Поиски всяческой “крамолы” и ее обличение становились своего рода императивом. Печально звучит рассказ о беспощадной критике статьи Г.Н. Пospelова “Единого потока теория”, предназначенной для 9 тома “Краткой литературной энциклопедии”, данной в 1975 г. М.А. Лифшицем: “Имя Г. Лукача... приплетено Г.Н. Пospelовым из чисто демагогических соображений”; “полная пустота”, “невнятный набор слов”, “низкий поступок”, который “нельзя оправдать ничем”. И даже так: выходка “в стиле Дона Базилио” (имеется в виду мастер клеветы в “Севильском цирюльнике” Бомарше) (там же). Личный архив В.Е. Хализева сохранил память о многих аналогичных событиях, имевших место на филологическом факультете МГУ. Они до сих пор не забыты свидетелями, но так и не стали предметом изучения. Это история гонения на фольклористику, которое возглавил заместитель декана С.И. Василенок. 15 ноября 1947 г. на страницах “Литературной газеты” он “прорабатывал” П.Г. Богатырева за включение в лекционный курс темы “Мифологическая школа в России”. На страницах факультетской газеты “Комсомолия” он же грубо шельмовал замечательного фольклориста и вузовского педагога Э.В. Померанцеву. На рубеже 1940–1950-х годов был подвергнут репрессиям (арест и ссылка) крупный ученый и замечательный лектор Л.Е. Пинский, работавший на кафедре зарубежной литературы, которую возглавлял Р.М. Самарин. В 1952 году изгнали с факультета А.А. Белкина, в течение ряда лет успешно читавшего лекционный курс о русском XIX веке. В 1947–1949 годах главным объектом “проработок” оказался Г.Н. Пospelов, которого сурово обличали и за его концепцию романтизма, и за “неправильную” трактовку “Бесов” Достоевского, и за решительное признание научных заслуг Веселовского. История проработок Пospelова и, в частности, сюжета “Веселовский – Пospelов” воспроизводится по дневниковым записям студентки тех лет Л.С. Новиковой из личного архива В.Е. Хализева. Ее вехами стали заседание кафедры 27 сентября 1947 года, посвященное концепции Веселовского, на которой были поддержаны обвинения проф. Н.А. Глаголева в “аполитичности”, “безыдейности”, “низкопоклонстве” перед Западом, “антипатриотизме” Веселовского.

Высказавшийся совсем в другом духе Пospelов снискал ярлык “компаративист на службе космополитов”. Вторая веха – появление в “Литературной газете” (15 октября) заметки некоего В. Новикова под названием “Особое мнение профессора Г.Н. Пospelова”. Высшей точкой антипospelовской кампании был 1949 год, в начале которого на секции критиков в Союзе писателей с погромной речью об идеологической крамоле на филологическом факультете выступила Е.И. Ковальчик, работавшая на кафедре советской литературы и являвшаяся членом редколлегии “Литературной газеты”. На основе своего доклада Ковальчик написала статью “Псевдоученые записки” (“Литературная газета”, 1949, 28 сентября). Это была разносная рецензия на третий выпуск журнала “Доклады и сообщения филологического факультета”, где, в частности, опубликована статья Пospelова “Проблема романтизма”. Ковальчик в тон Фадееву и вслед ему обличала “либерально-буржуазного” Веселовского, гневно отвергала “аполитичность” и “объективизм” тех литературоведов, которые уклонялись от изучения современной литературы, среди них В.В. Виноградов и П.Я. Черных.

Обращая свое исследование к современному читателю, авторы считают нужным пояснить, что ряд словосочетаний, например, “особое мнение”, в те времена звучал как угроза. Время меняет понимание. Именно поэтому В.Е. Хализев с соавторами не допускают в отношении прошлого непримиримого и одностороннего отрицания. В идеологии марксизма они указали способность противостоять “релятивизму любого толка: как ницшеанскому (его отголоски имели место в символизме и футуризме), так и прошумевшему много позже постмодернизму. И она в какой-то степени сохраняла в себе укорененное в веках (и непререкаемо истинное) представление о людях и их сообществах как носителях и средоточиях некой определенности, *стабильности мироотношения* и поведенческих установок. <...> Те, кто принял советскую идеологию..., могли оставаться (и нередко оставались) глубинно верными фундаментальным началам культуры России и всего человечества. Замешанная на дрожжах идеи бескомпромиссной классовой борьбы, эта идеология в то же время (все-таки!) не являлась *тотально* негативной. Она <...> *внутри себя самой* несла возможности... ее преодоления, что и происходило между серединой 1950-х годов... и серединой 1980-х” (с. 93).

Точны и тонки авторы в общей характеристике этого непростого периода, и в ней вновь прозвучит рефреном главный императив гуманитарной

научной мысли 1920–1960-х гг. – редуционизм. “Марксистско-ленинская чистота” не коснулась редуцированного формалистами “генезиса”, а лишь методов его оценки и изучения. И потому история сближения представителей формального метода с марксизмом не кажется только “подцензурной”. Отвергая утопизм марксистской идеологии, формалисты признавали весомость научного метода Маркса. Историография литературоведческой методологии ведет к выводам, конгениальным недавним исследованиям истории советской критики: парадоксальное единомыслие “формалистов, радикальных революционеров и литературных либералов” зиждилось на самозваном праве “лучшей части общества” руководить “архаичным” писателем и читателем, воспитывать эту “массу” (см.: История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под. ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. М., НЛЮ, 2011. С. 71). В программе разноликих революционных научных школ теория давила разнообразие жизни, управляла “живым человеком” и “тайным тайных” его души. Чрезвычайно уместно в этом контексте звучит приведенная авторами цитата из А.П. Платонова: наука действует, “не заботясь о той сущности, где хранится истинная живая тайна мира”.

Еще одной общей чертой противоборствующих научных методологий было отрицание достижений отечественной науки рубежа веков. Оно сопровождалось отказом от доверительного общения и расширения границ общечеловеческого диалога. Эту подавленную потребность компенсировали самиздат, подобыскная литература, дневниковые записи, воспоминания. Это недавно опубликованные труды С.А. Аскольдова (“Четыре разговора (Отрывок из задуманного романа)” и “Мысленный образ Христа” – 1930-е годы), А.А. Мейера (в их ряду «Размышления при чтении “Фауста” Гёте», 1935), А.А. Золотарева, автора рукописей “Книга о книгах. Заметки для памяти и рецензии для себя” и “Литдневник за 1939–1941 год”, дневниковые записи Л.Я. Гинзбург, К.И. Чуковского, М.М. Пришвина. Писание “в стол”, потаенные дневники и воспоминания, один из ликов протеста и стремления сохранить себя, дополнялся гротескным двойником: публичным покаянием. Воспоминания В.Е. Хализева представили такой эпизод из жизни Института мировой литературы 1970-х годов – скандал, разразившийся в связи с подготовкой очередного тома серии “Памятники средневековой латинской литературы”. Предоставим слово мемуаристу: «Вице-президент АН СССР П.Н. Федосеев возмущен обилием религиозных текстов и уважительными комментариями к ним. Дан выговор директору ИМЛИ Б.Л. Суч-

кову. Тот вызывает сектор античной литературы (его возглавлял М.Л. Гаспаров). Сучков, вспомнил Михаил Леонович много лет спустя, «“объяснил нам, какая была мракобесная средневековая культура”. Мы говорили “понимаем”, но, видимо, недостаточно убежденно, и Сучков усиливал гиперболы. Когда же он сказал, что в европейских монастырях процветало людоедство, я заволновался и раскрыл рот. Аверинцев, сидевший рядом, меня удержал. Потом он сказал мне: “Вы хотели выйти из роли”... Я написал признание ошибок по всем требованиям этого жанра и прочитал его по бумажке. Бумажка у меня сохранилась». Приводится текст, вот его фрагмент: «Предложенный в книге подбор текстов... может быть ложно понят массовым читателем. Руководящие высказывания Маркса и Энгельса... не использованы в должной мере”. Далее: “Коллектив античного сектора признает указанные критикой ошибки... и примет меры к тому, чтобы полностью изжить их в дальнейшей работе”» (с. 99).

Пожалуй, одним из самых важных нравственных последствий того, что М.М. Бахтиным было названо “самозванным серьезничаньем науки”, стала готовность многих ученых идти на компромисс, хотя “возможность выбора”, по словам В.М. Алпатова, сохранялась у них при всех обстоятельствах. Опираясь на дневниковые записи, собственные воспоминания и мемории современников, авторы приводят малоизвестные, но в нравственном и историко-литературном отношении важные примеры драматической борьбы литературоведов за возможность, по точному выражению Пришвина, “стоять для всей видимости на советской позиции и в то же время не расходиться с собой”.

Очерк академических школ 1920–1960-х гг. завершается анализом эволюции научных взглядов одного из самых видных и характерных представителей московско-тартуской семиотической школы Ю.М. Лотмана, его движения от генетического анализа к имманентному разбору произведения с привлечением внетекстовых материалов. Особо отмечен “внеаучный” аспект пересмотра структуралистами языка научного описания. Язык работ Лотмана, многими воспринимавшийся как нарочито усложненный, и был таковым. Отчасти усложненность диктовалась установкой сделать смысл говоримого непонятным для непосвященных – чужих, враждебных, опасных. Столь же существенно и напоминание, что терминологическая насыщенность структуралистских текстов была ответом на осязаемую всеми потребность в обновлении существующего научного языка и послужила своеобразной терминологической “кух-

ней” литературоведения, плодами которой по сей день пользуются ученые.

Домарксистское литературоведение, формализм, а позднее и структурализм составляли едва ли не центр отечественной науки на протяжении десятилетий. Гносеологические истоки общности столь разных школ исследователи определили с опорой на культурологическую теорию Б. Малиновского, который утверждал, что существуют два рода опытов изучения культуры: в одних случаях ученые стремятся прежде всего к “научному анализу фактов”, в других – к “амбициозным интерпретациям и реконструкциям”. При всех их достоинствах, ведущие методологии 1920–1930-х гг., что со временем осознавалось яснее, были склонны к некоторой схематизации своего предмета и догматизму. Недооцененная и невосребованная академической наукой “персоналистская” ветвь отечественной науки о литературе реализовала себя в явлении “внеаправленческого” литературоведения. Авторы приступают к разговору о внеаправленцах издавелока – от французской школы “Анналов”. Представление их участников об истории как цепи медленно протекающих, порой едва приметных процессов дала повод проследить последствия односторонности “направленцев” – их непоследовательность, и бесконечно большее фактическое богатство ими сделанного, нежели простое иллюстрирование первоначальных постулатов. Очерк “едва приметных процессов” отступления от концептуальной схемы авторы неслучайно начинают со... смеха: “...Лотман очень смеялся”, “Все споры были дружественными... Шутили мы всегда, работали очень весело...” и восторга перед яркой мыслью, точным словом: “захватывало дух”... “Внеаправленчество” торжествовало тогда, когда имело место – частное, продиктованное личными пристрастиями или научным интересом – отступление от постулатов школы, тогда “баланс” между причастностью и отчужденностью нарушался в пользу независимых, свободных от догматов методологии суждений. В.Ф. Переверзев и М.Л. Гаспаров, Л. Гинзбург и В. Жирмунский, Ю. Тынянов, В.Н. Топоров и Б.Ф. Егоров... все они нередко “оступались” на пути следования методологии, точнее – поднимались над ее редукционизмом или догматизмом.

Не меньшей внутренней свободой пользовались литературоведы, в 1920-е годы и на протяжении последующих десятилетий остававшиеся в стороне от рассмотренных научных школ. Их наследие составило богатый и мощный пласт отечественной науки. Филигранно точно данное им определение – “каждый шел своим, особым путем. Эти ученые были смысловиками...”, их инте-

ресовала явленность в литературе самых разных пластов содержания: эпохальных, национальных, социально-бытовых, нравственных, философских, религиозных. Е.М. Мелетинский, В.Н. Топоров, В.Э. Вацура, С.С. Аверинцев, В.В. Кожин, Е.Г. Эткинд, В.А. Грехнев, В.Я. Лакшин, А.В. Михайлов, А.П. Чудаков, А.В. Карельский, С.И. Великовский, А.И. Журавлева, С.Г. Бочаров, В.М. Маркович, Ю.В. Манн, М.М. Гиршман, Б.Ф. Егоров, Ю.Н. Чумаков, А.М. Турков и их предшественники – М.М. Бахтин, В.М. Волошинов, П.М. Медведев, А.П. Скафтымов, А.Л. Бем, К.В. Мочульский, П.М. Бицилли, Д.Е. Максимов и Д.С. Лихачев...

Объединяющим началом столь разных ученых, по мысли В.Е. Хализева и соавторов, была междисциплинарная область знания, с которой свободно взаимодействовали литературоведы, и персоналистская ориентация их мысли. Можно лишь посетовать, что атрибутируемое здесь понятием “внеаправленчества” явление не включило в себя упоминание о таких деятелях русской гуманитарной науки, которые раскрыли себя как историки и теоретики местной культуры: Н.К. Пиксанов, Н.П. Анциферов, А.А. Золотарев, Н. С. Ашукин. Их труды характеризовало “географическое измерение” культуры. В дневниковых записях 1920-х гг. друга Золотарева академика А.А. Ухтомского есть пояснение к этой связи: “Быт и уклад жизни предопределяет далее и мирозерцание, и степень восприимчивости к событиям, к духовному опыту”. В 1920-е годы они свидетельствовали о новом состоянии отечественной культуры, оказавшейся перед угрозой ориентированного на “массу”, “ничье”, теоретического сознания. Подавлению или одержанию они противопоставили диалог, “полифонию”, где нет ни доминирования, ни одержания. Всех объединяла этически ориентированная философия, которая обосновывает идею благоговения перед чужой одушевленностью, автором, произведением, самой “тканью жизни”, которые не должны пересоздаваться научной концепцией исследователя, учёные принимали на себя добровольно роль, требующую “тактичности” по отношению к автору и жизни. Напомним, что именно эту плеяду краеведов-гуманитариев, в том числе литературоведов, С.О. Шмидт называл предшественниками Школы Анналов: «В Большой советской энциклопедии на букву “К” вы не найдете статьи о краеведении. В томах 1930-х г. вы найдете статьи об эмиграции, но не о краеведах – представителях дворянских, кулацких кругов, как тогда считали. О них просто перестали писать, о них постарались вообще забыть. А ведь краеведение не перестало существо-

вать в науке. Оно явило себя в трудах Бахрушина, Богословского, Тихомирова. Оно нашло себя в том направлении исторической науки, которую мы называем локальной историей, а большая наука этого не поняла. Но поняли французы, у них родилась знаменитая школа Анналов. В 2000 г. по инициативе Сорбонны и на деньги Сорбонны была организована большая международная конференция, где по докладу об открытиях российского краеведения 1920-х гг., который был подготовлен мною и В.Ф. Козловым, была издана книга. Их более всего интересовало то, что в России была найдена та методика, которая только потом была использована Школой Анналов» (Из стенограммы выступления С.О. Шмидта на защите докторской диссертации 24 февраля 2011 г.). Нельзя в этой связи не согласиться с авторами исследования: «Собственно мировоззренческий фундамент трудов русских “вненаправленцев” XX века, чаще всего явленный косвенно и опосредованно, нуждается в специальном рассмотрении» (с. 155).

Оформление изящного издания в светлой обложке символично. Его украшает стилизованное

в духе К. Малевича или А. Родченко абстрактное изображение малого герба СССР – скрещенных серпа и молота, которое на задней обложке трансформируется в исполненную в минималистской технике поп-арта 1960-х годов полку книг. Создателям книги удалось показать главное: в истории отечественного литературоведения истекшего столетия имели место весьма резкие отчуждения, разрывы, вражда. Однако пришло время напомнить: “нам стоять почти что рядом, вы на Пе, а я на ЭМ ...”.

Д.С. Московская
Доктор филологических наук,
заместитель директора Института мировой
литературы им. А.М. Горького РАН,
Россия, 121069, Москва, ул. Поварская, 25а
darya_mos@yandex.r
Darya S. Moskovskaya
Doctor of Philological Sciences, Deputy Director
of the A.M. Gorky Institute of World Literature, 25a
Povarskaya str., Moscow 121069, Russia,
darya_mos@yandex.ru